

На город заходила огромная черная туча. Жалея, что не захватил с собой зонтик, я прикидывал, успею или нет добраться до театра, но трамвай не торопился, позванивая, он проезжал мимо древних, утопленных в землю деревянных домов, которым было далеко за сотню лет, должно быть, они помнили Муравьева-Амурского и еще многое-многое другое. Я сошел у магазина на бывшей Заморской, а позже Амурской улице, глянул на Крестовоздвиженскую церковь, колокола которой приглашали на вечернюю службу, вспомнив, что в ней, перед экспедицией на Амур, которая завершилась открытием Татарского пролива, в середине позапрошлого века венчался будущий адмирал Невельской.

Напротив церкви, на месте стоявших когда-то Амурских ворот, был установлен камень в честь присоединения амурских земель к России. Помню, меня всегда охватывала досада; и это все, что оставил город себе в наследство из своего славного недавнего прошлого. Именно отсюда управлялись земли огромного Восточно-Сибирского края, куда входили и заморские территории: Аляска, Алеуты и Калифорния.

Узкими дворами, укорачивая путь, быстрым шагом пошел в сторону драматического театра.

Но для меня драма началась, когда я почти добрался до театра: небо исполнило свое обещание, ледяной стеной хлынул дождь, и через пару минут моя одежда стала чем-то вроде хлюпающей водосточной трубы.

Я добежал до служебного входа, но там меня ждало новое разочарование; охрана сообщила, что директор еще не приехал, и посоветовала подождать. Я подумал, что мне бы сейчас в самый раз раздеться и отжать одежду, она липла к телу, туфли, словно жалуясь, хлюпали, на кафельном полу подо мной расплывалась лужа. Мимо спешили служащие, они сворачивали зонты и ныряли в темное нутро театрального лабиринта. Я посмотрел в окно, за стеклом с водостоков потоком лилась вода, ударяясь об асфальт, она потрескивала, словно на сковородке, дождь набирал силу.

«Придется сохнуть здесь», — обреченно подумал я.

В этот момент распахнулась дверь, и, минуя вахтеров, из лабиринта вышла молодая женщина, приготавливая для улицы пестрый зонт. Оглядев ее ладную, затянутую в плащ фигурку, я приподнялся со скамейки и удивленно произнес:

— Валя! Как ты тут оказалась?

Ответить она не успела, неожиданно мы почти одновременно увидели под окном на полу крупную денежную купюру. Вот как она там оказалось, я не успел понять, сделав удивленное лицо, я кивнул на смятую бумажку.

— Кто-то выронил?

— Наверное, это я обронила, — запнувшись, сказала Валя.

Я сделал вид, что мне нет дела до валяющихся бумажек, мало ли чего может оказаться на полу. Она одним движением преодолела пространство, подняла оброненную бумажку и сунула в карман.

— Ой, да ты совсем промок! — оглядев меня, воскликнула она. — Пойдем ко мне, я тебя обсушу.

Валя взяла меня за руку и повела в театральное обиталище.

— Это со мной! — уверенным голосом сказала она вахтерам.

Охранники кивнули, и Валя двинулась по коридорам и лестницам театра. Я, хлюпая размокшими туфлями, искоса смотрел на свою спасительницу, припоминая, что когда-то Валя была бортпроводницей, и мы летали в одном экипаже. Я вспомнил, что впервые обратил на нее внимание, когда она, тогда еще только начинающая стюардесса, на вечере в аэропорту спела шуточную песню.

Какой чудак придумал самолет?

Какой чудак решил летать как птица?

Кузнец Вакула первый был пилот,

Солоха — первая бортпроводница.

Песня имела успех, и Валу в аэропорту стали даже шутливо именовать первой бортпроводницей. Мне не верилось, что передо мною стоит именно она, которая когда-то мне очень нравилась. Да и она, когда заходила в кабину, смотрела на меня

влюбленными глазами. Теперь это была уже другая, уверенная в себе красивая женщина и, судя по поведению, в театре она занимала немалую должность. Меня это позабавило: оказывается здесь, в этом логове Минотавра, как шутя про себя я называл директора театра, у меня есть знакомый человек.

Валя завела меня в комнатку, приказала снять одежду, сунула мне красный махровый халат, и я, подчинившись, стянул с себя липкую одежду, закутался в халат и стал наблюдать, как она ловко расправляется с моими мокрыми брюками, приводя их в надлежащий вид.

«Кто прошел службу в авиации, тот годен для любой работы», — подумал я, поглядывая за ловкими движениями Вали. Она почувствовала, что я смотрю на нее, поправила волосы и легким движением откинула их назад. Обычно, прилетая в новый аэропорт, я брал Валу с собой, мы ходили по улицам, музеям и магазинам незнакомого города. С ней было интересно: живая, открытая, красивая и, что меня особенно подкупало — начитанная. Общаться с нею было одно удовольствие.

Пока она занималась моей одеждой, я стал думать о своих непростых отношениях с директором театра. В городе ни одно мало-мальски известное культурное событие не проходило без его одобрения или участия. Это была моя третья попытка поставить пьесу в драматическом театре. Первая была давно, еще при Советской власти. В город приехал новый главный режиссер Эдуард Симонян. Ознакомившись с местной пишущей и играющей публикой, он неожиданно для многих предложил поставить мою повесть «Приют для списанных пилотов».

«Живя на земле, не забывай смотреть на небо», — сказал Симонян, как бы отвечая на вопрос, почему он выбрал именно меня.

Я знал, что в Архангельске Симонян ставил Федора Абрамова, «Бременских музыкантов», «Трех мушкетеров». Когда я принес ему переделанную под пьесу повесть, Эдуард Семенович быстро прочел ее, хмыкнул и повел меня в зал, где были вывешены портреты актеров, и начал перечислять, кого из них он предполагает назначить на роли, которые я обозначил в пьесе.

— А вдруг что-то произойдет, и вы уедете из нашего города? — спросил я, прощаясь и пожимая руку Эдуарду Семеновичу.

— Все может статься. Но, как говорится, рукописи не горят. Пьесы тоже, — улыбнувшись, сказал он.

Лучше бы мне не говорить этих слов: через месяц Симоняна сняли, и он уехал в Комсомольск-на-Амуре.

Следующая пьеса, которую я, спустя несколько лет, предложил театру, была «Точка возврата» о летчиках дальней авиации. С режиссером из Барнаула Виталием Пермяком мы долго перезванивались, затем встретились на театральном фестивале. Чтобы режиссер ощутил красоту летной профессии и характеры летчиков, я договорился с летчиками, и мы на учебном самолете, на котором военные отрабатывали заходы, полетели на бомбежку полигона в Наратае. Пожалуй, Пермяк был единственным театральным режиссером, которому довелось увидеть настоящую работу военных летчиков.

— Все, будем ставить! — сказал он, возвращаясь с аэродрома. — Я заметил, летчики — суеверный народ. Не фотографируются у самолета перед полетом, не любят слово «последний», предпочитая говорить «крайний». Это в пьесе надо обязательно обыграть.

На другой день мы встретились с ним в зимнем саду драматического театра, чтобы определить последующие этапы работы над пьесой. И неожиданно он на-

чал расспрашивать о финансовой составляющей проекта. Тогда я считал, что главное — это сама пьеса, и начал отвечать уклончиво, полагая, что проблему можно будет решить во время работы. Лишь немного позже я начал догадываться, что Пермьяк, возможно, хотел заручиться авансом. Но я был не готов к такому повороту. И это обстоятельство стало решающим, моя встреча с заезжим режиссером оказалась последней. На другой день, когда я позвонил, чтобы обговорить наши последующие шаги, он ответил мне уже из Барнаула, что передумал, поскольку у него нет здоровья летать туда-сюда на сверхзвуковых скоростях. Для меня это было чувствительным ударом, отказ произошел, когда мне казалось, что все идет как надо, и впереди ждет интересная работа. Вот так неожиданно корабль наскочил на риф.

«Все псу под хвост!» — выругался я.

Верно говорил один из героев Булгакова, что театр — самое сложное сооружение, придуманное людьми.

Неожиданно Минотавр предложил написать пьесу о Святителе Иннокентии, как он сам выразился, нашем великом земляке.

— У меня вот здесь в столе лежат шесть вариантов, — сказал он. — Шлют со всей России. Одна авторша прислала жизнеописание, вернее сюсюли, про сына деревенского дьячка, который прославился тем, что осчастливил туземцев в Америке. Я не знаю, о чем будешь писать ты: об иркутских купцах, пьющих дьячках, о войне, мне это неважно. — Минотавр расстегнул рубашку и почесал свою волосяную грудь. — Погодин написал пьесу о кремлевских курантах, и они зазвонили на всю Россию. Вот что такое война? Война — это оборванные связи. Когда раздаются первые выстрелы, начинается настоящая драматургия.

Его предисловие мне понравилось, Минотавр давал не шанс, фактически карт-бланш, чтобы проверить, на что я способен в честной конкуренции с другими авторами. Директор театра, желая поддержать меня, добавил, что помнит и ценит мою повесть «Приют для списанных пилотов». К моменту разговора в народном театре уже была поставлена моя пьеса «Уроки сербского». За нее мы с главным режиссером театра Михаилом Стеблевым получили диплом международного театрального фестиваля, проходившего в Москве, с формулировкой «за братство славянских народов».

И тут новое лестное предложение. Прилетев в Москву, я поехал в миссионерское общество, там мне дали кое-какую литературу об Иннокентии, затем я съездил в книжное подворье при Сретенском монастыре, купил книгу Барсукова о жизни и деяниях святителя Иннокентия.

Знакомясь с жизнью Вениаминова, я сделал для себя несколько открытий. Одно время наш самолет базировался на аэродроме в Анге. Каждый день, собираясь на полеты, мы ходили мимо дома, в котором родился и некоторое время жил Вениаминов, ставший впоследствии святителем и главой Русской Православной Церкви. Дальше — больше. В городе, куда его отправили на учебу, он учился в той же школе, в которой я проучился свои первые четыре года. Только в мое время это уже была самая старая в городе начальная школа при монастыре, а не духовная семинария.

Дочитав до конца книгу Барсукова, я понял, что прикоснулся к жизни сибирского самородка, который и печи клал, и часы делал, при необходимости мог и музыкальные духовые инструменты изготовить. Но истинная мощь его личности заключалась в ином, он сумел понять значение слова Божьего и донести его до

диких племен далеких Алеутских островов. Иннокентий в совершенстве овладел языками туземцев и смог стать для них простым и близким человеком, за которым они были готовы идти хоть в огонь, хоть в воду. А его краеведческая книга «Записки островов Уналашского отдела» стала известна всей читающей России, язык автора, его наблюдательность привели в восторг Николая Васильевича Гоголя.

Но больше всего меня поразила его государственная позиция в отношении восточных территорий, благословение генерал-губернатору Николаю Николаевичу Муравьеву на занятие Амура дал именно он, человек духовный, миссионер, сделавший, пожалуй, больше всех для приобщения коренных народов далекой Русской Америки, Якутии и Амура к Православной Церкви. Все современники отмечали его самообладание, когда во время Крымской войны, которая стала фактически мировой войной Запада против Российской империи, в Аяне англичане объявили, что берут его в плен. Англичане были настолько обескуражены самообладанием Иннокентия, что оставили в покое не только его, но и сам поселок. Более того, освободили уже захваченных под Петропавловском-Камчатским пленных.

Я сидел в тесной комнатке в женском халате, пил горячий чай, встречаясь с Валиными глазами, гадал, чем же в театре занимается она. Когда мы раньше встречались при выполнении рейсов на Север, она рассказывала о полетах в составе других экипажей, изображая в лицах, верно передавала характеры моих коллег. Была она наблюдательна, остроумна, ей бы не в стюардессы, а в артистки.

*Нам в небе стюардессы создали уют,
Который дома нам не снился.
В полете чай и кофе подают
Прелестные Солохи — проводницы.*

Согреваясь чаем, я с удовольствием напевал про себя ту Валину песню, смотрел, как у нее из-под утюга вылетают клубы пара, и размышлял над превратностями судьбы. Еще полчаса назад я не мог вообразить, что окажусь в этом своеобразном приюте для списанного пилота, и бывшая стюардесса будет сушить мою одежду.

Она отутюжила мой пиджак, набросила его себе на плечи и принялась за брюки.

— Я бывших летчиков узнаю сразу же, — улыбнувшись, сказала она. — По штанам. Пиджак можно заменить, но лишить бывших летчиков привычки к синим штанам все равно, что лишить младенцев памперсов.

Я промолчал, намек на памперсы был ударом под дых, но возражать не имело смысла, промок до трусов.

*Галлы сбросили штаны,
Тоги с красным им даны —*

отшутился я, вспомнив высказывания римских сенаторов о варварах.

— Что тебя привело в театр? — неожиданно спросила Валя.

— Я написал пьесу.

— Вот как! — Валя удивленно и, я бы сказал, с каким-то сожалением посмотрела на меня. Такими глазами обычно смотрят на больных детей. — О летчиках?

— Не угадала. Здесь-то я свои штаны выпячивать не стал, — отшутился я. — Написал пьесу о святом.

— Понятно! — помолчав немного, протянула Валя. — Сейчас многое поменялось. Все стали ходить в церковь.

— Я и раньше ходил, — усмехнувшись, ответил я. — Но не афишировал. А вот что в этом храме нашла ты — не пойму?

— С чего начинается театр?

— Немирович-Данченко говорил — с вешалки.

— Я работаю здесь гардеробщицей. Заодно заместителем директора по хозяйству.

Кстати, многие наши девчонки работают на театр. Авиации мы стали не нужны, а в театре нас приютили. Если тебе будут нужны билеты, ты скажи. Все устроим. О чем пьеса?

Меня позабавила та легкость, с которой Валя готова была бросить мне спасательный круг.

— Я уже сказал, она о святителе, о людях, которые жили в нашем городе почти двести лет назад. Она историческая и в прямом, и в переносном смысле. С ней в обнимку я сплю уже более пяти лет.

— В обнимку обычно спят сам знаешь с кем, — поддела меня Валя. — Да, дела твои неважные. А в другие театры предлагал?

— Предлагал, — помедлив, ответил я. — Но сейчас пьесы стали товаром. Хочешь поставить — плати: за освещение, изготовление реквизита. А золочёные эполеты на мундир генерал-губернатору Муравьеву надо заказывать непременно в Софрино. В общем, за все. И заламывают цену — мама моя!

— Да сейчас все стали прагматиками.

— Ну, скажем, не все.

— Не все, — согласилась Валя.

— Скажи, я похож на графа Монте-Кристо?

— Скорее на общипанного мокрого цыпленка, — засмеялась Валя. — И сколько просят?

Я ожил. Наконец-то появился слушатель, который знает театральное закулисье, и которому можно доверить свои печальные мысли, связанные с устройством пьесы.

К этому времени я уже догадывался, в чем мой просчет. Мне казалось, что все кроется, как говорил Минотавр, в несовершенстве пьесы, в неумении нащупать нужную драматургическую пружину. Я старался исправить текст, сверяя его не только с творениями древнегреческих авторов, но и с пьесами Шекспира, Гоголя, Чехова. Но вскоре до меня дошло, что если бы к директору пришел Чехов с его литературной «Чайкой», боюсь, результат был бы таким же, как и у меня. Издать книгу, не имея имени — дело обычное. Там тоже нужны деньги, но ведь находят и издают. Театр — это другая планета. Здесь к автору и его творению другой подход. По сути, в успехе спектакля заинтересован не только автор, но и режиссер. Он полноправный творец того, что зритель увидит на сцене. А еще актеры, которые своей игрой доносят до зрителя задуманное.

Обо всем этом мы говорили с директором, после его точных и нередко справедливых замечаний я летел к себе обратно в Москву и заново правил текст. После очередного свидания, когда он в порыве чувств припал ко мне на плечо и произнес уже знакомую мне фразу: «Ты знаешь, старик, драматургом надо родиться. Конечно, твое упорство похвально. Но вот, допустим, мы поставим, ты получишь гонорар, зрители похлопают. Что дальше?». Директор сделал паузу. В наступившей тишине мне послышалось то, чего он почему-то не произносил: мол, уймись, смири гордыню и займись тем, что получается. Вот только почему он не давал мне окончательный от ворот поворот, я не мог разгадать, возможно, я интересовал Минотавра как любопытный экземпляр, который, желая обеспечить постановку пьесы, решил предложить простую схему. И она, как мне казалось, заинтересовала не только его.

От землячества обосновавшихся в Москве сибиряков, которые не только обжились в столице, но буквально проросли сквозь камень, мне посоветовали организовать письмо губернатору с просьбой посоддействовать в реализации данного проекта, зная, что в наш провинциальный город намечается визит патриарха, и постановка такой пьесы была бы кстати. В письме я указал, что после премьеры можно будет организовать гастроли театра аж в самую Америку, где, по слухам, авторитет Святителя был велик, и американские законодатели до сих пор считают его одним из самых выдающихся миссионеров. Известно, губернаторы пьес не читают, на беду надо было такому случиться, что в нашем городе они менялись с частотой пролетающих электричек. Однажды мне все же удалось поговорить с новым назначенцем, он, выслушав меня, спросил про цену вопроса и, услышав ответ, воскликнул:

— Да ты ломишься в открытые ворота!

Возможно, он был прав, я действительно начал ломиться. Какими будут эти ворота — Амурскими, Московскими — я не знал. Я догадывался, что при разговоре с теми, кто определяет, ставить или отказать в постановке, губернатор не обязан держать сторону автора, здесь он безусловно доверялся мнению состоящих на его службе специалистов по культуре. Но апеллировать к ним не имело смысла. Уже давно известно, что культура, медицина и, пожалуй, еще метеорология — самые что ни на есть непредсказуемые вещи.

Так оно и случилось: моя письменная просьба, заверенная печатью земляков, была передана по назначению, в министерство культуры. И там застряла надолго.

Но кроме власти административной, существовала невидимая цензура. Общаюсь с режиссерами, я сделал для себя два любопытных открытия. Выяснилось, что в разговорах с автором почти всегда незримо присутствует коммерческий интерес: якобы близкие тебе по духу люди — как правило, крестясь на образа, называли такую цену, что можно было выносить всех святых. Было еще одно наблюдение, размышляя над ним, я понял причину, почему провинция недолюбливает москвичей: самый второразрядный столичный театр назначал за постановку цену во много раз большую, чем самый заметный провинциальный театр. За свою жизнь я привык к небольшим цифрам, здесь же с меня запрашивали такую цену, что, ошупывая ее своим неразвитым финансовым сознанием, я ахал, это все равно, чтобы без подготовки забраться на Эверест. Утешало меня одно: любовь к денежным знакам существовала с незапамятных времен. После своего кругосветного путешествия из Америки в Петербург главный герой моей пьесы Иннокентий зашел к столоначальнику с намерением прописать паспорт. Тот сделал вид, что очень занят. И когда Вениаминов напомнил о своей просьбе, очинил гусиное перо и крупно написал на белом листе бумаги: «Двадцать пять рублей». Иннокентий сделал вид, что не понял. Тогда столоначальник исправил написанное цифрой «Пятнадцать». И здесь гость из далекой Америки сделал вид, что не понимает сути происходящего. Столоначальник попытался и написал: «По крайней мере — десять».

Священнослужитель, усмехнувшись, сказал, что сейчас же без доклада войдет к его начальнику.

— Вас оштрафуют!

— Тогда деньги поступят в казну, — сказал Иннокентий.

Убедившись, что не на того напал, столоначальник тут же прописал паспорт. Много воды утекло с тех пор, современные столоначальники сменили гусиные

перья на стальные, обзавелись телефонами и научились решать свои сверхзадачи, используя методику Станиславского. Прописать пьесу в театре оказалось гораздо сложнее и дороже, чем паспорт.

— Наш директор хорошо играет в шахматы и считать умеет, — поставив уют «на попа», точно прочитав мои мысли, сказала Валя. — А еще у него есть один козырь. Да, да, ты догадался — Козырева! Как-то он вызвал меня к себе. Вот что можно увидеть в кабинете? Портрет президента, губернатора. Ну, при большой любви — собственный. У него на столе портрет Козыревой.

— Понятно, уж если портрет вешать, то хозяйки?

— Да, да! — засмеялась Валя. — Думаю, они, конечно же, меж собой обсуждают, кого поставить, а кого задвинуть на дальнюю вешалку. Уверяю, за всё пишущее пьесы человечество она переживать не будет. Ей достаточно и своих проблем.

Я засмеялся: она точно не будет. Когда однажды, отчаявшись, я дозвонился до Козыревой по телефону, она милым, вполне дружелюбным голосом ответила, что те деньги, которые выделяет администрация для постановок пьес перспективных авторов, это ее деньги, и на них мне не стоит рассчитывать.

«Выходит, я не прохожу по этой статье», — мелькнуло у меня в голове. Я что-то пытался возразить, но она рубанула сплеча, сказав, что вот если бы я принес и положил на стол искомую сумму, то пьесу бы поставили. Я отреагировал, как крестьянин, у которого на рынке из-под носа только что увели дойную корову. Я сказал, что если бы у меня в кармане лежали такие деньги, я бы пошел в любой театр, и пьеса была бы поставлена. Я был доволен своей находчивостью. Но ненадолго, всего лишь несколько секунд. Есть правило: если просишь, держи язык за зубами. Я нарушил его и тотчас же поплатился, услышав отдаленные телефонные гудки.

— Портреты — самый недолговечный товар, — сказал я. — Сегодня висит, завтра в чулане лежит.

У Вали зазвонил мобильный, она достала его из сумочки.

— Меня зовут, — сообщила она. — Одежду я подсушила. Можешь одеваться. Кстати, директор уже здесь, и гости, в том числе и московские.

Я быстро оделся. Брюки еще были сыроваты, но вполне годились для выхода в свет.

— Ты звони или заходи, — произнесла Валя знакомую и ненавистную мне по Москве фразу, обычно ее произносят, когда тебя не очень-то хотят видеть.

— Нет, ты действительно заходи. — Должно быть, Валя что-то прочитала на моем лице. — Назови мне свой номер.

Я продиктовал, она тут же набрала и, услышав ответный сигнал, спрятала телефон.

— Вот что, если у тебя есть второй экземпляр, оставь мне. Я прочитаю быстро и все тебе скажу. А если понравится — передам владыке. Пусть он почитает.

Это был беспроигрышный ход, если владыка откажет, то и лезть даже в распахнутые самим губернатором ворота не имело смысла. Я достал свободный экземпляр и протянул Вале. Она улыбнулась, прижалась ко мне щекой. И я, окрыленный этой неожиданной лаской, хотел поцеловать ее, но она, отстранившись, погрозила пальцем.

— Мы так не договаривались!

Я начал смущенно шутить, может, она похлопочет и узнает, есть ли в гардеробе для меня вакансия.

Женские халаты — вещь опасная. Кутаясь в него, я почувствовал давно забытое тепло, и почему-то в голову пришла странная, давно не посещавшая меня

мысль: ну чего суечусь со своими писаниями, разговорами, пьесами, когда рядом нет обыкновенного женского тепла и участия. К чему все эти пустые хлопоты? Я, медля, застегнул пиджак на все пуговицы, еще раз улыбнулся Вале и, вздохнув, шагнул в коридор.

Директора театра в кабинете не оказалось, я спустился вниз в фойе и присел в кресло, если пойдет, то миновать меня будет трудно. В просторном холле былолюдно, туда и сюда сновали актеры, какая-то публика. Минотавр на своей площадке проводил очередной театральный фестиваль, и околотеатральной публики собралось предостаточно. Неожиданно я разглядел, видимо, приглашенную для освещения фестиваля московскую диву, которая писала рецензии в столичных журналах. Фамилия у нее была Коклюшева.

Надо признать, директор был профессионалом, и театральное дело вел со столичным размахом. Коклюшева, как и положено человеку с именем, держалась уверенно, точно ледокол в Арктике, грудью взламывая провинциальные льды поклонников, двигалась куда-то вглубь фойе. Я проследил глазом предполагаемую траекторию движения и увидел чеканное лицо Минотавра. Он шел, твердо ступая по мраморному полу, кудрявые с проседью волосы красиво обрамляли загорелое лицо, голову он держал прямо, сидевший на нем костюм напоминал тогу патриция. Рядом с ним в красивом платье плыла Козырева.

Я привстал, чтобы обозначить свое присутствие. И сделал это зря, даже минутная беседа или встреча с провинциальным Шекспиром не входила в их планы. Слегка кивнув мне головой, Минотавр прошагал к Коклюшевой, чтобы личными объятиями засвидетельствовать свое уважение и пригласить акулу пера на ужин.

Я вышел из театра. Дождь прекратился. Обходя лужи, пошел обратной дорогой вверх по бывшей Заморской улице. Вдыхая свежий осенний воздух, дошел до камня, где за забором огромным клином прямо в центр города выползали старые деревянные дома. Остановился на мокром взгорке, где в честь присоединения к России земель по Амуру после Айгунского договора с Китаем была установлена величественная арка. Простояла она полвека, уже в советское время ее снесли, как обветшалую.

Я знал, что рядом, за деревянным забором, притаился девятнадцатый век, с дворами и вековыми выгребными ямами, с высокими из мощных бревен крыльчками, летом все скрывалось за кленами и тополями, зимой утопало в снегу. С ближайшего склона исторический околоток разрезали ручьи, они торили себе удобную дорогу через охранную зону, как им вздумается, под уклон в сторону большой реки. Так было при Муравьеве, советской власти, при всех бывших и нынешних градоначальниках. И все же очередной губернатор, уроженец Питера, тот, который объявил, что я ломлюсь в открытые ворота, к юбилею города решил снести развалюхи и построить на их месте деревянный квартал. Думаю, что решение о сносе было правильным, намечался приезд многочисленных гостей, и терпеть все эти запахи и бегающих по дворам собак в сотне метров от театра было просто неприлично.

Прогулка под дождем не прошла для меня бесследно, неожиданно для себя я заболел. Вечером меня начало знобить, я померил температуру и вытянул губы: больше тридцати восьми. Горячий чай, лимон не помогали; они были для меня, что для мертвого припарки. На другой день я все же вышел на улицу, доковылял до аптеки, спросил у провизора, что нужно принимать при простуде.

— Тут не принимать, тут надо врача вызывать, — с сочувствием в голосе сказала аптекарша. Дальше потянулись дни, которые можно было спокойно вычеркнуть из жизни. Слабость, тошнота, иногда мне казалось, что за мной вот-вот войдет Харон и посадит к себе в лодку. Я просыпался в холодном поту, менял одежду и вновь проваливался в небытие. На меня наваливались странные видения, откуда-то из темного угла наплывала театральная сцена, на ней в позе триумфатора стоял Минотавр, он держал в руках только что врученное ему «Золотое руно». Прямо перед сценой уже были накрыты столы с сибирскими яствами: копченым омулем, сигаами, солеными груздями и рыжиками, отдельно в салатницах горкой была насыпана спелая брусника. А по залу метались грифоны и гарпии, они ждали звонка для своего выхода на арену, удерживая в закутке приведенную для ритуала молодежную публику.

Днем я пытался передвигаться по квартире, но, обессиленный, садился на кровать. Сходить в аптеку не было возможности, все дни лил дождь. Я совал себе под мышку градусник, смотрел на осеннее небо, обжигаясь, пил горячий чай и думал, что жизнь совсем не вовремя преподнесла мне еще один неприятный сюрприз, я надолго застрял в своем-чужом городе, которому было глубоко наплевать на мои переживания и болезни.

В один из тяжелых для меня дней неожиданно подал признаки жизни телефон. Звонила Валя. Она сообщила, что в городском музее намечается выставка, посвященная святителю Иннокентию, и что на ней будет владыка.

— Рукопись я передала, но не знаю, прочитал он ее или нет, — добавила она. — С кем из наших общался?

Вялым голосом я сообщил, что лежу и каждый день в основном общаюсь с гарпиями.

— С кем, кем? — не поняв, переспросила Валя.

— Стерегу от духов золотое руно, — вяло пошутил я.

— Ты что, один? — спросила Валя.

Вопрос застал меня врасплох. Вокруг было много людей, целый город. Но тех, к кому я мог обратиться, которые раньше то и дело звонили мне, их как будто вымели. Остатки того, что мною было здесь накоплено, переехали прорастать на камнях в Москву.

Мне пришлось сообщить Вале, что я заболел и что третий день не выхожу из дома. Валя помолчала, затем спросила адрес. Я поинтересовался: зачем? И тут же услышал, что она сейчас прилетит ко мне домой санитарную авиацию.

Санитарной авиацией оказалась сама Валя. Она принесла какие-то, по ее словам, целебные снадобья, таблетки, быстро навела порядок на кухне, заварила чай. Было видно, что это доставляет ей удовольствие, все она делала быстро и в охотку, подошла, приложила прохладную ладошку к моему лбу. Я тут же потянулся к ней губами.

— Тебе сейчас нужно только горькое, — улыбнувшись, сказала Валя.

— Уж чего-чего, а этого мне хватает, — отшутился я. — И если говорить честно, я уже начал выздоравливать.

— Прямо сразу?

— С твоим приходом.

— Кашель есть?

— И кашляю, и чихаю, — признался я. — От своей пьесы, от театра, от той пыли, что накопилась в моей квартире и душе.

— Да, надо бы пройтись тряпкой, — сказала Валя. — Кстати, чтобы поднять настроение, расскажу о недавнем визите Патриарха в наш город, — заговорила Валя. — Особых сюрпризов ему не придумали, но они то и дело появлялись на ходу. Когда я читала твою пьесу, то подумала. Директор упустил прекрасную возможность. Так вот, мы у себя в приходе почистили, прибрали, навели порядок. Подготовили двух девчушек, чтобы они вручили ему цветы и сказали несколько слов. Но Патриарх задержался. Поджидая его Святейшество, девочки очень устали. Когда он появился, к нему по сценарию подошла девочка, которая, вручая цветы, должна была прочесть стихи. Но она, все забыв, сделала Патриарху замечание.

— Мы вас ждем, ждем, а вы где-то пропали!

Спасла положение вторая девочка. Она, улыбнувшись, добавила:

— И все равно мы рады, что вы приехали!

Патриарх буквально расцвел от этих слов.

— Ну вот, не надо писать пьес, — пошутил я. — Лучше этих девочек не скажешь.

— Скажи, а вот те, кто ушел, кого нет с нами, они за нас переживают? — помолчав немного, спросила Валя.

— Они за нас молятся, — подумав, ответил я.

— Что, и твой святой? Он-то хоть догадывается, что ты здесь хлопчешь, ругаешься, болеешь?

Валин вопрос застал меня врасплох. В последнее время я жил пьесой, и все остальное казалось мелочью. Я не предполагал, какие испытания меня поджидают, но жаловаться, что передо мною в театре не распахивают двери, не хотелось. Значит, еще не пришло время, значит, я еще не все сделал, чтобы рукопись разрывали на части режиссеры.

— Он со мною рядом и дает мне силы, чтобы я преодолел все трудности. Думаю, и он молится за меня. Я это чувствую. Господь посылает нам испытания. Если это благое дело, то надо потрудиться и потерпеть. Главное — не опускать рук.

— Но бывает, бьешься, хлещешься, и все без результата.

— Бывает, все бывает, — подтвердил я.

— А потом вдруг враз все случается, — неожиданно всплеснула руками Валя. — Происходит все вроде бы само собой, и лишь позже догадываешься — помогли. Начинаешь думать, может, не надо было ломиться в открытые ворота и подождать, когда плод сам созреет.

— Где-то я уже это слышал, — рассмеялся я.

— Театр — сложная штука, — помолчав немного, сказала Валя.

— Сложнее некуда!

— В театр ходят все. Хоть раз в жизни, но ходят.

— На рынок тоже ходит много народа.

— Ты не путай пресное с соленым, — засмеялась Валя. — Древние греки говорили, что театр — школа для взрослых. В нем воспитывают чувства. Наш директор — умелый руководитель. Сохранить коллектив, выплачивать вовремя зарплату и держать баланс внутренних взаимоотношений — такое удастся не каждому.

— Ты что, пришла защищать своего начальника? — откашлялся я. — Думаю, он в твоей защите не нуждается.

— Это точно, не нуждается. У него любимого на все есть два мнения. Его собственное. Все другие — неправильные и ошибочные. Но только затронь его

интерес, сомнет в порошок. Только он обладает правом судить и рядить всех и вся. Когда Козыреву в очередной срок не назначили на должность, а новый приезжий губернатор, неожиданно для многих, назначил на это место Стеблева, что тут началось! Истерика. Надо спасать культуру от дикарей с прогрессирующим комплексом неполноценности, которые хотят сварганить местечковый феодализм под знаменами новоимперских амбиций. Вся Москва была поднята на уши. Вмешался даже Кобзон. И народного режиссера убрали. В новой для себя должности он пробыл всего две недели.

Я решил повернуть разговор в другое русло, мне хотелось узнать, читал ли пьесу владыка. Я предполагал, что у пьесы, конечно же, как и полагается, есть сторонники и противники. Противники иногда даже рядились в сторонников. Делали это, чтобы показать осведомленность и свое независимое суждение обо всем, что происходит в культурной политике нашего города. Хотя я точно знал, пьесу читали всего два человека. Большинству было все равно, поставят или не поставят, пьеса — это же не курица, которую могут подать на стол. Если написал — хорошо, попросили заплатить — ищи гроши. За тебя никто деньги искать не будет. А поставят — садись в зале и наслаждайся. И мои претензии к директору, по большому счету, писаны на песке. Договора с ним у меня не было. Он предложил, я — согласился. Как говорил один из героев Шекспира: «из жалости я должен быть суровым». Если и есть претензии, то, прежде всего, к самому себе.

Я понял, идти на выставку надо. Но попасть на ее открытие, где предполагались первые лица, оказалось непросто. Выручила Валя, позвонила и сказала, что пригласительный будет на проходной.

Иногда бывает интересно посещать провинциальные выставки. На входе мне отыскали пригласительный, и я растворился в общем потоке посетителей, с удивлением отмечая, что почти не встречаю знакомых лиц. И тут заметил Валю. Она улыбнулась, потом подошла и шепнула, чтобы я не считал воробьев, а шел сейчас же прямо к владыке. Рядом с ним стояли Козырева и отец Максимилиан.

— Я прочитал, мне пьеса понравилась, — улыбнувшись, сказал владыка. — Что можно сделать, чтобы она была поставлена?

Краем глаза я увидел, что Козырева напряглась, она никак не рассчитывала на этот не предусмотренный протоколом мой разговор с владыкой.

«Наверное, в этот момент она жалеет, что рядом нет Минотавра», — подумал я.

— Все, что вы можете сделать, — это благословить, — сказал я и посмотрел на министершу. Она с казенной улыбкой на лице смотрела сквозь меня.

Владыка перекрестил меня и, улыбнувшись, добавил:

— Всего-то. Ну, тогда с Богом!

В этот момент я ощутил себя губернатором Муравьевым, который получил благословение на занятие Амура.

Буквально через день мне был звонок от главного режиссера театра Папкина, он предложил встретиться и обсудить вопросы, связанные с постановкой пьесы.

Я возликовал. Наконец-то моя флотилия отчалила от берега и начала сплавляться по Амуру.

Режиссер оказался молодым, коротко стриженным, в спортивной майке человеком. Я знал: в театр его пригласили из Москвы, куда он летал ставить модные спектакли. Он предложил мне переделать пьесу, для столкновения сил добра и зла ввести образ черта или чертенка. Я стал протестовать, в своих проповедях Иннокентий представлялся мне как человек государственных начал, который, размыш-

ляя над смыслом бытия, отрицал всякую чертовщину. Это Михаилу Булгакову в «Мастере и Маргарите» захотелось посмотреть на человеческую сущность с темной стороны. Почему мы должны следовать за ним? Папкин рассеянно послушал меня и предложил подумать над образом умершей матери Иннокентия, которая в пьесе была бы судьей и эдаким оппонентом батюшки. Это несколько смягчало ситуацию, но не убирало вмешательство потусторонних сил полностью.

Я сказал, что подумаю. Затем Папкин, как бы мимоходом, осведомился, есть ли ответ на письмо земляков губернатору.

Уже наученный прошлыми промахами, я осторожно ответил, что помощь, конечно же, будет, поскольку сам губернатор сказал, что я ломлюсь в открытые ворота. Ответом мне была слабая улыбка Папкина, со мной вел переговоры стреляный московский воробей.

На этом мы расстались. От разговора у меня осталось послевкусие, покопавшись в памяти, я вспомнил Пермяка. «Возможно эта встреча с Папкиным, как и с предыдущим барнаульским режиссером, станет последней, а не крайней» — думал я, вспоминая свой разговор с Папкиным.

Психологи говорят, мысль материальна, далее в моих отношениях с театром возникла пауза. Через некоторое время Папкин отказался от постановки, заявив директору, что Иннокентий — не его тема. И дальше пошли непонятные странности. Тех режиссеров, которые хотели и могли бы поставить пьесу, Минотавр начал отвергать с порога, впрочем, тут же называя фамилии неизвестных для моего слуха столичных и питерских режиссеров, мол, надо бы предложить пьесу им, возможно, они и возьмутся. Но ни один из них мне не позвонил, и их мнение о пьесе так и осталось для меня тайной за семью печатями.

Впрочем, интерес к пьесе все же был, московский театр «Спас» готов был приступить к постановке, но с определенными оговорками. Они не были озвучены, но в тот момент я был готов на любые условия. Поскольку у театра не было своего помещения, то я объездил за ним всю Москву, чтобы лучше познакомиться с репертуаром и с игрой актеров. Но не получилось и со «Спасом». Все произошло, как в известном афоризме: хотел как лучше, а получилось как всегда. Окончательный разговор о договоре вновь был по телефону, жена режиссера, заслуженная артистка, назвала мне сумму за постановку, и я чуть не свалился со стула, Минотавр и министерша были голубями по сравнению с московскими театральными грифами.

— Вы что, думаете за мой счет построить себе театр? — растерянно спросил я.

— Это не ваша забота! — сухо ответила актриса.

Прав был Минотавр, война обрывает связи. В моем случае со жрецами и жрицами Мельпомены не было боевых действий, было прощупывание намерений, меня с моим желанием поставить пьесу, когда я сообщал, что не в состоянии оплатить запрашиваемую сумму, тут же ставили в неудобное положение. Да, война, но в другом измерении, где любое желание должно быть оплачено. Вспомнился мой приход в литературу, когда чуть ли не каждый ковырялся в моей первой повести «Одинокий полет», высказывая свое категорическое суждение, стоит ли мне вообще заниматься литературой, или бросить это дело сразу. Свою первую повесть я переписывал одиннадцать раз, пока один добрый человек не посоветовал бросить возиться с «Одиноким полетом» и сесть за новую вещь.

Был еще разговор с московской театральной критикессой, которая предлагала убрать всю канву по присоединению Амура и написать театральную новелку о

последних дней жизни Иннокентия. Размышляя над ее предложением, я вспомнил последние слова Святителя: «От Господа стопы человеку исправляются».

«А от бесполезной беготни — стираются», — с грустью добавил я про себя.

За время, что я провел, работая над пьесой, мне открылся совсем неведомый мир, о котором я и не подозревал. Люди из прошлого напомнили о своем былом присутствии на земле, заговорили, протянули мне руку. Я понял, что жизнь не прерывается, она продолжается в ином качестве и другом измерении. И если мы, допустим, решили сплавляться по Амуру, то должны помнить, кто из наших предков первым ступил на его берега. Больше всего меня согрело, что пьесу читал владыка и благословил ее. Он как бы подал знак от самого святителя, мол, не кручинься, иди и работай; рано или поздно зрители все равно увидят ее на сцене.

Перед тем как улететь в Москву, я договорился о встрече с Вале́й. Мы встретились возле памятника Вампилову, и под монотонный шум дождя пошли в театральное кафе. Там буфетчицей работала еще одна бывшая стюардесса — Эля Хабибуллина. Несколько лет назад меня пригласили сюда бывшие коллеги из службы бортпроводников. Разговор для меня получился непростым. Бортпроводники были возмущены, что государство обошлось с ними несправедливо, поскольку при начислении пенсий они не попали в категорию кабинного экипажа и по сравнению с летчиками не имели даже крохотной надбавки. Разговор не клеился, передо мною сидели постаревшие, обозленные женщины, которые получили возможность выкрикнуть все свои обиды на власть своему бывшему коллеге, который, оформив льготную летную пенсию, взял и укатил в Москву. Нет, это были уже не те милые стюардессы, которые обычно с улыбкой встречали меня у самолета. В голове все время вертелся мотив песенки про Солоху:

*Пилоты не похожи на чертей,
Хотя, как черти, по ночам летают.
А наши стюардессы, вот ей-ей
Порой на ведьм похожими бывают.*

— Так вы сами голосовали за эту власть, какие претензии ко мне? — пытаюсь утихомирить бывших стюардесс, говорил я. — Вы ругаете меня, который, возможно, единственный, кто в Думе пытается помочь вам.

— И какой толк! — вскричала Хабибуллина. — На выборах я голосовала за тебя, больше не буду.

По сути, шел разговор немого со слепыми. Моим бывшим подружкам хотелось сделать мне побольнее, и самые веские аргументы на них не действовали. Выходило, виноваты все: власть, депутаты, руководство авиацией. Только пожаловаться им, бедным, некому. Вот и попался я им под руку.

«Все верно, жизнь — театр» — вспоминал я Шекспира.

И вот новая встреча все в том же театральном кафе. Здесь, судя по всему, Валя была своим человеком, она подошла к Хабибуллиной, о чем-то поговорила, затем показала мне глазами, чтобы я занял столик в углу.

— Ну как там в Москве? — спросила Валя через пару минут, усаживаясь рядом за столик. Я вспомнил, что на той встрече с бывшими бортпроводницами ее не было, но, судя по всему, детали разговора она знала.

— Многим кажется, что там для нас все намазано маслом, — пошутил я. — Это далеко не так.

— Да я все понимаю, — сказала Валя. — Провинция недолюбливает москвичей, но если представится такая возможность, поползут туда на карачках. Вернем-

ся, как говорится, к твоим делам. Скажу прямо, директор ставить пьесу не будет. Сделает все, чтобы затянуть, а там или ишак сдохнет, или падишах умрет.

В это время к нам подошла Хабибуллина. Она накрыла столик и, прежде чем отойти за барную стойку, с ехидцей в голосе задала привычный вопрос:

— Что-то вам не сидится в Москвах?

— Да вот, на родину тянет, — в тон ей с улыбкой ответил я. — Ничего поделывать не могу. Где я в столицах смогу встретиться и поговорить с теми, с кем мерз на Северах, кто согрел нас чаем.

— Ничего хорошего здесь нет, — с какой-то безразличностью в голосе сказала Эля. — Так, одна мышьяная возня и пьянство.

Она отошла на свое место. Что ж, у буфетчицы было собственное представление о качестве и смысле жизни в провинции. Но настроение мне она не испортила, я, глядя на ее сжатые губы, решил: зачем жду подвоха, расстегну-ка я на пиджаке все пуговицы и постараюсь быть тем, кем был раньше, поскольку присутствие рядом со мною Вали подсказывало, что не все так уж и плохо в нашем городе и в моей жизни, и что здесь, рядом с нею, можно было говорить все, что думаешь и ощущаешь.

— Да плюнь ты на наш театр и поищи возможность постановки в другом месте, — сказала Валя, когда я вернулся за столик. — Ну, так сложилось! Освободись от иллюзий. Продолжай работать и думать, как сделать пьесу лучше. А потом ты еще спасибо скажешь моему директору, что не распахнул по первому звонку ворота, что дал возможность ближе и полнее познакомиться с Иннокентием.

Что ж, мои размышления нашли реальное подтверждение. Валя протягивала мне нить, чтобы я выбрался из театрального лабиринта. В нем мой самолет был уже давно в воздухе, но где он приземлится, куда лететь, я не знал. Помнится, обучая меня летному делу, инструктора говорили, что движение порождает сопротивление, и что опираться можно только на то, что стоит твердо, что держит крыло в полете. Бежать по болоту — непросто. Но никто не брал передо мною обязательств мостить по нему дорожку. Мости и преодолевай сам.

— В нашем городе есть еще два театра, один народный, другой Театр юного зрителя. Кстати, там ежегодно проводят Иннокентьевские чтения. Чего ломиться туда, где тебя не хотят ставить. Может, попробовать там, — вслух размышляла Валя. — Есть еще театр в Омске, «Галерка», там все выпускники нашего театрального училища. Всегда должен быть выбор.

— Губернатор, тот, который строит деревянный квартал, предлагал поставить пьесу в родном ему Петербурге. Но я отказался, мне хотелось в нашем городе, — сказал я. — Где когда-то державно звонили колокола, сияла русская слава и русская правда. Где замысливались и исполнялись великие дела. Здесь даже когда-то ворота в честь присоединения Амура стояли.

— Где они сейчас? Разломали! Кто еще помнит здесь о подвиге Невельского? Или твоего святого? А вот в Благовещенске стоит памятник Иннокентию, во Владивостоке — Муравьеву-Амурскому. В Николаевске-на-Амуре — Невельскому. А что у нас? Даже улицу Амурскую и ту переименовали. Вычистили все под корень. А ведь присоединение Амура задумывалось именно здесь, в нашем городе. Чем бы сейчас без него был наш Дальний Восток?

— То-то и плохо, что не помнят, — сказал я. — Если ты не возражаешь, я пойду, закажу у Эли коньяку. Вспомним, что было забыто, и начнем, как мы раньше говорили, делать погоду. А то этот дождь совсем ошалел.

— Я за все заплатила, — вдруг сообщила мне Валя. И, как бы извиняясь, добавила. — Решила потратить тот неожиданный гонорар, который упал мне с неба. Ты не возражаешь?

Нет, я возражал, сказав, что если у меня нет денег на постановку пьесы, то на ужин найдется.

Я встал и пошел к Хабибуллиной.

— Не суетись, — усмехнувшись, сказала Эля. — За все уплачено.

— Тогда, если не затруднит, принеси, милая, бутылку хорошего вина или коньяка и коробку конфет, — попросил я Хабибуллину.

— Нет проблем, — улыбувшись в пол-лица, сказала Эля. — Сделаем.

Успокоенный ее услужливым тоном, я вернулся за столик.

— Сибиряки, настырные они, — веселыми глазами встретила меня Валя.

— А ты что, не сибирячка?

— Нет, я хохлуша, меня маленькую привезли сюда их Харькова. Знаешь, почему я пошла работать в театр? Моя дочь Катя учится в Москве, в Щуке. Получается, теперь у нас театральная семья.

Раздался звонок на мобильный Вали.

— Да, да, мы здесь! — засияв лицом, громко заговорила Валя. — Сидим в кафе у Эли.

— Тебе будет сюрприз, — спрятав мобильный в сумочку, сказала Валя. — Ты не пугайся. Моя дочь захотела познакомиться с автором пьесы. Тем, который когда-то давал провозку ее маме по Северам, — запнувшись, добавила она.

Через пару минут в кафе с шумом, как и полагается воспитанным дамам, вошли женщины. Впереди всех, отмеряя метры своими высокими каблуками, шла бывшая бортпроводница Инга Цыкун, худая, нескладная, как я успел определить, одетая по самой последней китайской моде с Шанхайки. Я уже знал, она работает у Мино-тавра билетным кассиром. Помнится, ее многие в авиации побаивались. Была она человеком простым и прямолинейным, и при случае резала правду-матку в глаза.

— Ей бы обслуживать грузовые составы, — бывало, подшучивали летчики. На своих каблуках она смотрела на мир почти с двухметровой высоты, и видимо ей это доставляло особое удовольствие. Держась рядом, где-то под рукой, семенила маленькая полненькая хохотушка с нарисованным во все лицо ртом. «Ритка-пончик» — вспомнил я ее прозвище. Замыкала шествие молоденькая красивая девушка, в которой я признал Валину дочь.

— Все в сборе, можно проводить слеполетный разбор. — Я решил сразу же взять инициативу в свои руки. Но не тут-то было, та власть, которая была у меня над ними в прежние времена, уже давно улеглась на покой.

— Вот еще чё надумал! — закричала Цыкун, растопырив руки для объятий, очутившись на досягаемом расстоянии. — Никаких разборов, никаких совещаний! Будем гулять!

Не успел я опомниться, как бывшие стюардессы обцеловали меня, затем стали аккуратно реставрировать мое попорченное временем и театральными переживаниями лицо, очищая его салфетками от губной помады.

— Ты что, командир, залетел в эту долбанную Москву и глаз не кажешь! Только по телевизору и видим. Ну, мы люди не гордые, хорошее помним. Валя сказала, что ты здесь революцию готовишь или, наоборот, решил всех научить святости. Вот мы и решили узнать суть твоего нынешнего понимания жизни и, если потребуется, помочь.

— Даже помочь? — Я оглянулся на Валю. Та сделала вид, что она здесь ни при чем, и, прервав наш разговор, радостно сообщила:

— А это Катя, моя дочь!

— А я вас представляла другим, — сказала Катя.

Голос у Кати был ровным, хорошим. Мне в ней приглянулось все, глядя на нее, я вспомнил Валю, которая впервые пришла на рейс, чтобы лететь со мной в Якутск.

— Так какие у нас проблемы? — прямо в лоб спросила меня Инга. — Обижают?

— Это меня-то обидеть! — возмутился я.

— Обидеть можно каждого. Ты нам расскажи, авось и мы лишними не будем.

— Минутку!

Я встал, подошел к барной стойке и заказал для вновь прибывших закуску и выпивку.

— Вы знаете, я прочитала вашу пьесу, — сказала Катя, когда я вернулся за стол. — Если вы позволите, я скопирую ее. Вы не обидитесь?

— Почему я должен обижаться?

— Так вот, я покажу ее в Москве нашему руководителю. — Она назвала фамилию довольно известного театрального деятеля, — возможно, мы постараемся на курсе попробовать поставить.

— Я не возражаю, — засмеялся я. — Вы мне покажите человека, который бы отказался от такого предложения.

— Кстати, твой директор живет со мной рядом в Шаманке! — вдруг сообщила Инга. — Иногда просит, когда надолго уезжает, чтобы я покормила его собак. Они у него злые, года два назад чуть местных ребят не загрызли. Теперь я ночью буду проходить мимо его дома и кричать в трубу страшным голосом: «Почему не ставишь пьесу!?» Только ты скажи, хорошая она или плохая? — Инга забросила ногу на ногу. — Может, возьмешь нас, и мы сыграем ее. Не в театре, а здесь, в этом кафе. Соберем наших, пригласим актеров, может, чему-то они и у нас научатся. Мы девки еще хоть куда!

Ингу после коньяка понесло, я видел, что все посетители кафе смотрят в нашу сторону.

— Недавно наш директор стал руководителем «Народного фронта», — сообщила Валя. — Говорят, на съезде встречался с самим президентом.

— Вот и обратитесь к нему, — сказал я. — Пусть попросит президента прибавить вам пенсию.

— Держи карман шире, — засмеялась Инга. — Многим кажется, что у нашего царя всегда под рукой мешок с золотой крупой. Только попроси, он тут же сколько надо отсыплет. Держи карман шире! А с нашим директором я все равно поговорю. Пусть он собак не спускает. Когда встречаюсь — хороший мужик. Воспитанный, культурный. Но попробуй тронь! Мне кажется, у него на месте прически появляются рога. Говорят, от него, после постановки пьесы, один автор даже сбежал в Канаду.

Я смотрел на ее разгоряченное лицо и сделал для себя вывод, что пьесу подружки не читали, но представление о ней уже имели. И реакция была простой и понятной — наших бьют! Меня это порадовало, оказывается, не все готовы были ругать меня за доставшуюся маленькую пенсию. Я поймал себя на том, что благодарен своим бывшим подружкам даже за вот такую солидарность, напомнившую то далекое время, когда мы, собравшись возле телевизора, коротали время в летних профилакториях Нюрбы, Тикси или Якутска.

Из кафе мы уходили уже одной командой. Под морозящий дождь даже пытались петь строки из песни про Солоху-бортпроводницу.

— Ушла на пенсию Солоха, говорят, — во весь голос кричала Инга.

— Врачи Вакулу начисто списали, — в тон ей подпевал я.

«Много ли человеку надо, посидели, поговорили и вроде бы решили все проблемы. Ворота, если они есть, все равно откроются. Даже если они подперты изнутри кольями».

Особенно меня позабавило предложение Инги кричать в трубу Минотавр. Это было революционное предложение. Я представил, на какую высоту поднялось бы театральное дело, если бы за него взялись бывшие стюардессы. Мне бы встретить их пораньше, тогда бы не пришлось поднимать в воздух алтайского режиссера, чтобы пробить брешь в стоящих предо мною воротах. Что ни говори — каждый бомбит цель по-своему. Я улетел в Москву и на какое-то время забыл о пьесе.

А потом был неожиданный телефонный звонок от директора Театра юного зрителя Олега Слесарева с просьбой прислать пьесу. Его я знал мало, буркнул что-то нелестное. И чуть было не испортил все. Спасла ситуацию уже другая Валя, с которой в детстве мы жили на одном болоте. К тому времени она стала замечательной русской православной писательницей. По телефону она сказала мне главное: Слесарев намерен поставить мою пьесу.

С Минотавром мне довелось встретиться в столичном театре. Быстро пролетел год, и он вновь привез на столичную сцену в Художественный театр имени Чехова пьесу сибирского классика «Еще не время». Про себя я решил, что нужно обязательно посмотреть ее. У автора пьесы было чему поучиться.

Стояла пасхальная неделя. Над Москвой, то в одном, то в другом месте, наполняя собой небо, нарастал колокольный звон. Он радостно плыл над домами, улицами, затененными окнами. В эти праздничные дни каждый прихожанин мог забраться на колокольню и присоединиться к таким же, как и они, по-детски любящим медный державный звук, который, обволакивая, проникал в каждого, обещая весеннюю чистоту, тепло и долгую, спокойную жизнь. Звучавшая медь как бы на время соединяла всех с небом, выправляя и успокаивая приостывшие за долгую зиму души.

С Минотавром мы столкнулись в дверях театра, звон столичных колоколов его не трогал, он прошел мимо, даже не кивнув. Через минуту я понял причину его сосредоточенности, директор спешил припасть к плечу новому губернатору, который, пользуясь случаем, решил посетить московскую сцену.

«Неужели Инга все же говорила с Минотавром, — мелькнуло у меня в голове. — Зачем? Чтобы еще раз утвердить, как говорил сам директор, что война обрывает связи? А там одно правило: от уважения до ненависти один шаг. Инга была права, хорошему актеру подвластно многое: он должен уметь как в закупоренном сосуде держать свои чувства и намерения. И говорить на людях только то, что требуется по тексту. Главное — сохранить лицо», — думал я, поглядывая на слегка приплюснутое лицо директора. Иногда отсутствие намерений говорит красноречивее любого объяснения, раньше, встретив меня, он начал бы говорить привычное: старик, не время, вещь слаба. И при этом неизменное актерское, годами отработанное припадание головой к плечу собеседника.

Уже позже, когда пьеса начнет собирать в залы народ, нанятая жрица древнейшей профессии напишет статью «Капнист пиесу накропал громадного размера», где в поднятых на сцене парусах увидит карту будущей имперской экспансии и амбиций Путина и Патриарха. Ну что поделаешь, баба-яга, у которой, как она

сама признается, ослаблены экзистенциональным голодом мозга, конечно же, будет против. Бесы плачут, бесы скачут!

И все же свой хлеб директор ел не зря. У него было обостренное чувство сцены, неважно, где в этот момент она находилась: в фойе, на улице, в кабинете у высокого начальства. Здесь ему одновременно приходилось быть актером, режиссером-постановщиком, конферансье, держать в руках нити, чтобы все шло по намеченному плану. И не было у него случайных людей, все было продумано и отрепетировано заранее. На столичную постановку пьесы «Еще не время» были приглашены известные критики, которые должны были написать необходимые рецензии, столичные актеры, режиссеры, депутаты; все укладывалось в отработанный и продуманный сценарий. И даже билеты распространялись по отработанной схеме. Директор не любил слово «авось».

Какая свадьба без генерала! Минотавр привез в театр с больничной койки автора пьесы, который должен был своим присутствием придать законченность всему действию. Он стоял рядом с губернатором, поседевший и постаревший, точно прикованный к обозначенному месту цепью, молчаливо, хмуро и устало поглядывал на театральную суету. Чуть поодаль, в своей неизменной форменной черной без ворота тужурке, за автора уже вещал на камеру похожий на поседевшего семинариста златоуст Комбатов, чуть поодаль готовилась сказать свое слово Коклюшева. Все были на месте, каждый знал для чего и зачем он присутствует здесь.

Раньше мне уже не раз приходилось смотреть пьесу, в ней я знал каждую реплику, каждое слово. Я вспомнил, что первоначально она была повестью, затем для театра автор сделал инсценировку. Несколько лет назад директор уже привозил ее на Международный театральный фестиваль и получил одну из главных премий.

Я еще раз посмотрел спектакль по пьесе уважаемого всей Россией классика, пытаясь разгадать, что же в ней такого, что заставляет плакать и переживать пришедших в театр зрителей. Да, она была поставлена главным режиссером театра Папкиным. И актеры выложились — не каждый день приходится играть на столичной сцене. На этот раз Папкин взял в союзники не потусторонние силы, а выписанного с мастерством вполне привычного для России зеленого змея, хмельными чарами которого была отравлена мужская половина персонажей пьесы, которые даже у кровати умирающей матери, не стесняясь, звенели стаканами. Уже перед финальной сценой, стараясь не привлечь к себе внимания, я вышел из зала и двинулся к выходу. Краем глаза успел отметить, буфет уже готовился к фуршету, как было и заведено у Минотавра, на столы выставлялись привезенная байкальская водка, рыжики, омуль и сиги. Все было просчитано и учтено: приготовленные к последующему действию журналисты и прочая приглашенная публика то и дело оглядывали сибирские угощения на столах, директор не любил экспромтов.

Едва я ступил на брусчатку Камергерского переулка, как тут же моя нога по щиколотку провалилась в бегущий водяной поток. Сибирский дождь догнал меня и в столице, он с торопливой легкостью и настойчивостью смывал все следы, всю наносную пыль, которая имело свойство накапливаться в больших городах. Несмотря на дождь, колокола продолжали свой радостный перезвон; как бы повторяя пасхальное слово Иоанна Златоуста, который утверждал, что в эти часы щедрый Владыка принимает и последнего, как и первого, он и о последнем печется как о первом, и дела добрые оценивает и все намерения приветствует и деятельности любого человека отдает честь.